

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6
М57

Художник
Валерий Калныньш

Борис Минаев

М57 Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х : роман в рассказах /
Борис Дорианович Минаев. — М. : Время, 2018. — 416 с. —
(Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1704-4

«Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х» — новая книга известного российского писателя Бориса Минаева. «Жизнь любой женщины — это практически всегда остросюжетный, эпический, великий роман», — считает автор. В данном случае под одной обложкой собраны двадцать три истории из жизни молодых женщин, каждая из которых — воистину героиня своего времени. Того времени, когда начался великий разлом двух эпох и когда сформировался характер целого поколения.

ББК 84(2=411.2)6

ISBN 978-5-9691-1704-4



9

© Б. Минаев, 2018

© Состав, оформление, «Время», 2018

Библиотека всемирной литературы

Елена Шульцбергер, русская, 24 лет, студентка Всесоюзного института культуры, член ВЛКСМ с 1976 года, как-то потеряла книгу — сочинения Франсуа Рабле в серии «Библиотека всемирной литературы».

По всей видимости, оставила она ее на скамейке возле 302-й аудитории во время зимней сессии на своем факультете режиссуры народных театров и массовых мероприятий, будучи в полуобморочном состоянии. В книге (а это был толстый том, таким убить можно) имелись: сам текст про Гаргантюа и Пантагрюэля в переводе Любимова, а также сложная и большая вводная статья, научные комментарии, красивая суперобложка и милые картинки внутри на двух цветных вкладках. Теперь, когда она думала обо всем этом, ей становилось физически нехорошо.

Шульцбергер сразу узнала, что на черном рынке такая книга стоит «от шестидесяти рублей». Но в принципе купить можно. Просто надо быть готовым к тому, что попросят все восемьдесят. И тогда нужно торговаться. Ну как торговаться, вот просто твердо сказать: извините, но таких денег у меня нет, резко повернуться и решительно идти к метро. И вот тогда они могут догнать и предложить семьдесят, и можно будет спустить сначала до шестидесяти пяти, а потом и до шестидесяти.

Все эти советы она выслушала по телефону, сухо сказала в ответ «спасибо» и медленно положила трубку. Потом к горлу подступила волна, и Лена, долго ей сопротивляясь, пила воду, стакан за стаканом, а затем наконец начала рыдать. Рыдала она больше часа, пока не заснула.

Лена получала на работе семьдесят рублей в месяц, да еще с вычетами, и о каких шестидесяти-восемидесяти рублях можно было вообще говорить?... Откуда взять такую сумму *на одну книгу?*... Она просто не представляла себе.

Она вообще не знала до этого момента, что такая книга может стоить восемьдесят рублей (не букинистическая, не дореволюционная, не манускрипт средних веков, просто книга из подписного издания номиналом три рубля сорок пять копеек).

Ну хорошо, «Мастер и Маргарита», знаменитый черный томик Ахматовой или синий Пастернака в «Большой библиотеке поэта», предположим, да, теоретически, мог стоить — на черном рынке и восемьдесят, и сто, это она понимала, но это был предмет кульга, драгоценность, бриллиант в домашней библиотеке, но почему Рабле, автор-гуманист эпохи Возрождения? Ну извините, ну пятнадцать. Ну хорошо, двадцать. Ну ладно, двадцать пять. Это еще можно как-то собрать, одолжить...

Однако ей назвали именно такую цифру.

Вдруг Лена подумала — а может, это шутка? Или ее просто разыгрывают?

Она снова набрала знакомый номер и спросила:

— Валер, а это точно? Ну, я имею в виду, вот все эти цифры...

Эти данные Шульцбергер получила от Валеры Семеняки, парня из далекой деревни в Харьковской области, который очень рано почувствовал необыкновенную любовь к книгам (не к каким-то конкретным, а к книгам вообще) и переехал в Москву, чтобы заняться ими по-настоящему.

Про книги он знал буквально все и порой, в дни наиболее удачных сделок, бывал сказочно богат, водил девушек в кафе «Молодежное» на улице Горького и поил их шампанским. Это был целый ритуал. Они называли это «день книголюба».

— Лен, ну что я тебя, обманывать, что ли, буду? — обиженно пробасил Семеняка и снова стал объяснять про рыночную стоимость и про то, что торговаться — это не стыдно, а наоборот, таким образом ты даешь продавцу почувствовать свое уважение.

Лена снова повесила трубку и долго смотрела перед собой, на портрет Есенина, висевший на стене с голубенькими обоями.

И потом уже позвонила мне.

Мы дружили с Шульцбергер полтора года, с тех пор как встретились на закрытом просмотре фильма Тарковского «Зеркало» во ВГИКе (как мы туда попали, я уже и не помню). С ней было всегда интересно, но как только она ощущала какие-то неправильные посылы с моей стороны, то тут же надувалась и становилась очень сварливой.

Не то чтобы я чего-то терпеливо ждал, просто не хотелось ничего менять. С ней было уютно и весело временами. Да и встречались мы не то чтобы очень часто — это совершенно не утомляло.

Но в тот день она задала вопрос, который явно не вписывался в наши отношения.

— Послушай... — сказала она, тяжело дыша. — А ты можешь меня спасти?

— Господи, да что с тобой случилось?

— Понимаешь... я потеряла книгу, — сказала она, и тогда я непроизвольно расхохотался.

Как оказалось, я тоже имел отношение к этой истории, потому что книгу она брала у моего друга Сени, когда мы были у него на дне рождения.

Сеня был очень милый, добродушный, серьезный и положительный мальчик из МАИ, с которым мы шесть лет учились в одном классе.

Он торжественно подвел нас к отцовской библиотеке и указал на полный комплект «всемирки».

— Видите? — сказал он. — Вчера получили последний том.

Исландские саги, Песня о Роланде... Сервантес.

Сеня проводил пальцами по глянцевым корешкам суперобложек, и на лице его отражалось физическое наслаждение.

— Ой! — вдруг сказала Лена Шульцбергер, которая впервые на моей памяти выпила два бокала красного вина и сильно захмелела. — А мне как раз очень нужен Рабле!

По добрейшему лицу Сени пробежала легкая тень.

— Да? Действительно? — переспросил он. — Но только, Леночка, ты верни в полной сохранности, пожалуйста. Лучше, кстати, дома суперобложку снять. А то в сумке растреплется. И обернуть в бумагу или в газету. Вот. Ну и, конечно, не потеряй. А на сколько ты возьмешь?

Отступить было поздно, и Ленка затараторила, что всего на две-три недели, пока не сдаст зарубежку, а то в факультетской библиотеке есть только в старом переводе Пяста, а им в старом переводе Пяста читать не велели, там с купюрами, и что она, конечно, обязательно вернет в целости и сохранности, будет сдувать пылинки, и вообще она так благодарна, что даже не знает, как выразить свою благодарность, что прозвучало уже почти неприлично. Сеня хмыкнул и сказал, что сейчас запишет на карточку — все книги, которые он давал читать, записывались им на специальные карточки: кому дал, на сколько и специальные примечания — «для сдачи экзамена», например, это он записал по поводу Шульцбергер и, расставаясь с книгой, любовно погладил по обложке, заглянул внутрь и, удовлетворенный, вручил том Рабле пьяной девушке, как кольцо с бриллиантом.

Все это настолько мне не понравилось уже тогда, во время дня рожденья, что я хотел сказать Ленке, что лучше бы она передумала.

Но она делала все это с такой очаровательной дурацкой манерой девушки, которая попробовала алкоголь чуть ли не впервые в жизни, что я быстро обо всем забыл, да и сам, честно говоря, был в очень хорошем настроении, мне казалось совершенно очевидным, что она пошла в гости со мной к моим друзьям, как моя девушка, и это требовало осмысления, да бог с ней, с этой книгой, нет, все в этот вечер получилось удачно...

И я, разумеется, забыл про свои дурацкие опасения, а через три дня она позвонила и страшным голосом рассказала всю эту историю.

Я встретился с Семенякой и спросил, какие могут быть вообще варианты. Ну в принципе. Теоретически.

— А никаких, — лениво ответил он. — Ну, если б это была «Песня о Роланде». Или какой-нибудь том, знаешь, типа: «Николай Некрасов. Поэмы», тогда да. Двугривенный, и все дела. И замену можно найти. Но Рабле...

— А что в нем такого, в этом Рабле? — разозлился я. — В этом Гаргантюа и Пантагрюэле?

— Сам не понимаешь? — угрюмо спросил меня Семеняка.

Я упорно пожал плечами.

— Ну они же там это... сношаются, — сказал он с мягкой украинской улыбкой. — Какают, писают, жрут... И все это весело, а не стыдно. И все на благо человека, все во имя человека. Как в программе партии. Где еще такие книжки есть, где их издают? Только на английском языке, наверное.

Ну странно, по-прежнему отказывался верить я, как будто сам Семеняка мог скостить цену, в романе Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень» тоже много сексуальных сцен. Нет, это другое, поморщился Семеняка. Это совсем другое, это советский стиль, инда взопрело и все такое. Это тоже ценится, конечно, я за Иванова бы отдал, наверное, четвертак, а то и тридцатку. Но это другое. Да ты почитай Бахтина, сказал он, там все написано. Карнавальная культура, все такое. Могу дать, у меня есть. Потом он предложил пойти выпить кофе.

Мы пошли в факультетский буфет, встали за круглые столики и стали медленно тянуть кофейный напиток «Свежесть».

— Да, я помню, — сказал я, — карнавальная культура, все дела, но слушай, Валер, мне девушку надо спасти.

— А чего спасать-то? — удивился он. — Просто не звоните ему, и все, этому Сене. Может, забудет.

— Да нет, Сеня все на карточки записывает...

— Ах это, — Валера улыбнулся с понимающим выражением лица. — Ну скажи, украли. Сумку вырвали. Хулиганы, бандиты. То, се.

— Это нехорошо, — сказал я и набухал в напиток «Свежесть» четыре ложки сахара, иначе пить было невозможно. — Беду накликаешь. И потом, ты знаешь, вроде логично идти в отказ, но это будет хуже. Сейчас цель — избавить девушку от мучений. Предложить план. А вот таким образом мы ей этих мучений только добавляем. Она не умеет врать. Она хорошая.

— Понятно, — задумчиво сказал Семеняка. — Непростая ситуация.

Шульцбергер между тем звонила мне каждый вечер.

— Ты обещал меня спасти, — твердо говорила она. — Помнишь?

— Спасу, — говорил я. — Не дрейфь. Все будет хорошо.

— А что ты делаешь для моего спасения? — настаивала она. — Какой у тебя есть план?

— У меня есть план А, — говорил я.

— А план Б? — продолжала настаивать она.

В ее голосе ощущался легкий нервический смешок.

А мне, честно говоря, было совершенно не до смеха.

В Шульцбергер как будто вселился какой-то демон. Она нашла центральную городскую библиотеку, где та-

кой же Рабле находился в свободном доступе, и ходила туда каждый день по вечерам (библиотека работала до восьми). Она вынашивала план похищения (!), изучала расположение залов, коридоров, книжного хранилища и еще обсуждала все это безумие со мной.

— Но ты послушай, — говорила она по телефону задуманным голосом. — Смотри, ты приходишь, записываешься, мы вместе сидим, занимаемся, часов до семи, потом ты, предположим, падаешь на пол и изображаешь, что у тебя эпилептический припадок, ну знаешь, как у Достоевского, стиральный порошок я тебе дам, напихаешь перед этим в рот, начнешь биться, пускать слюни, они все станут орать, тебя откачивать, вызывать милицию, в этот момент я тихо проскользну в хранилище, возьму книгу и убегу, а ты тоже потом...

— Что?

— Встанешь и убежишь.

— Но ведь нас найдут и посадят в тюрьму.

— За Франсуа Рабле?

— Какая чушь, — говорил я. Мне и самому становилось страшно. Грабить учреждение культуры я был как-то совершенно не готов.

Тогда Лена стала много говорить о творчестве Рабле, великого французского гуманиста. Ты знаешь, я поняла, что он великий гуманист, говорила она, как будто находясь в легком бреду или под действием легких наркотиков, вот все эти пиписьки, пуканье, сплошное и бесконечное пуканье, это все очень поэтично, переваривание, пищеварение, другие физиологические отправления, ведь тогда все были

очень набожные, да? — это же было невозможно, говорить в книге о таких вещах, да и вообще этот праздник человеческого тела, я все понимаю, но читать мне это неприятно, знаешь, самое обидное, что мне по-прежнему неприятно все это читать... Я сижу, читаю, читаю, как дура, и плачу, начинаю рыдать с любого места, как будто это мелодрама или роман Этель Лилиан Войнич «Овод», сцена казни. Ужасно.

Причем все это в устаревшем переводе Пяста.

Наконец она уговорила меня подойти к зданию центральной городской библиотеки имени Некрасова в момент закрытия. Мы должны были изучить, когда ее закрывают и ставят на сигнализацию.

Стоял чудесный октябрьский вечер.

Я до сих пор хорошо помню эту советскую Москву перед наступлением заморозков — когда сгущается вечером воздух и в нем висит последнее тепло, мягкий свет падает с багрового, какого-то невероятно зловещего неба, и скользят по улице Горького усталые машины, черные «Волги», «Жигули», грузовики, накрытые брезентом, а у тебя сердце сжимается от непонятной боли.

Такими вечерами я мог ходить по городу пешком сколько угодно, часами, а тут приходилось стоять и мерзнуть с Шульцбергер, которая сошла с ума.

Наконец я уговорил ее сделать перерыв и зайти в кафе «Лира».

Никогда никаких девушек я не водил ни в какое кафе «Лира», там было нереально дорого и противно.

Но в данном случае было необходимо хоть что-то придумать.

На втором этаже кафе «Лира» было страшно накурено и почему-то совершенно пусто, как будто какая-то пьяная компания ушла отсюда только что. Подошел хмурый официант и внимательно на меня посмотрел, объявив, что из горячих блюд есть только ромштекс, а из спиртных напитков — коньяк.

— Я не могу коньяк, — растерянно шепнула Шульцбергер.

Мне показалось, что официант хочет, чтобы мы как можно скорей покинули заведение.

— А коктейли у вас есть? — спросил я.

— Есть, — неохотно подтвердил официант. — «Полярное сияние», «Звездопад», «Ласточка». Вы какой предпочитаете?

Тогда я заказал «Полярное сияние», это была смесь шампанского с ликером шартрез.

Шульцбергер я решил его на всякий случай не давать.

Она смотрела на меня молча, готовая в любую минуту разрыдаться.

— Что же делать? — прошептала она громко.

Я выпил залпом «Полярное сияние», и вдруг сразу стало так хорошо, что я даже удивился.

— Лена, — сказал я, — на самом деле горькая правда состоит в том, что плана Б у меня нет, надо реализовать план А. Он очень простой: мы подарим Сене хорошую дорогую книгу, но не очень дорогую, а просто хорошую, и во всем ему признаемся, как наш друг он должен понять и простить, это будет, как визит к зубному врачу, но если ты настроишься и перестанешь трястись, я тебе

помогу и все будет хорошо. Все равно я должен в этом участвовать, потому что с меня все началось, ты не одна в этом мире, и уж тем более это не самая важная проблема в твоей жизни, поэтому давай гулять по бульварам и представлять, как мы будем говорить с Сеней, и даже веселиться. Это будет весело, правда, — уныло добавил я, потому что на ее лице появилось выражение, которое я давно изучил.

Это было выражение тупого еврейского упорства.

— Нет, — твердо сказала она, — я хочу ограбить библиотеку.

— Ладно, — решительно сказал я.

Мы расплатились и вышли из кафе «Лира», чтобы больше никогда туда не возвращаться. Мы стояли напротив библиотеки Некрасова и изучали лица выходящих из нее последних посетителей. Вечер сгустился, настала осенняя холодная ночь, зажглись фонари, из подъезда вышел служитель и странно на нас посмотрел, но нам было все равно, мы ржали во весь голос, представляя себе ограбление библиотеки.

Станным образом мой коктейль «Полярное сияние» оказался внутри Шулцбергер, хотя она его даже не попробовала. Она хохотала как дурная, а потом резко остановилась, сказав: «Пошли!»

Мы подошли к библиотеке со двора, Лена нащупала на земле здоровый обломок кирпича, выбрала окно и замахнулась всерьез. Мне пришлось принять решительные меры, я взял ее за руку с кирпичом, другой прижал к себе и поцеловал в губы.

Кирпич упал мне на ногу, стало очень больно, она плакала и смеялась одновременно, потом опять надулась.

— Неужели ты думаешь, — прошипела она, — что я все это придумала, чтобы тебя соблазнить? Ты ошибаешься, дорогой мой, я просто потеряла книгу, и меня это мучает...

— Меня тоже, — сказал я, и мы расстались в тот вечер.

Я начал медленно обзванивать знакомых. Книги, с которыми люди могли расстаться (о том, чтобы продать по черному курсу, не было даже речи), были все очень разные, иногда даже просто хорошие: например, мне предлагали Ремарка, «Три товарища», в хорошем, качественном, не макулатурном варианте, предлагали Апдайка, «Кролик» и «Кентавр» в одном томе, предлагали Луи Буссенара, дореволюционный справочник по гинекологии, Хемингуэя — «Праздник, который всегда с тобой» и «Прощай, оружие», один парень предложил три тома из собрания сочинений Сталина, предлагали очень старые издания Аксенова и четырехтомник Есенина без одного (последнего) тома, но «там, правда, только проза, письма, это все равно никому не нужно», я все записывал и обещал перезвонить.

Прошла неделя, а потом другая. Решение не нашлось.

Однажды я от нечего делать взял с полки своего Рабле в переводе Пяста, это была очень старая, разорванная по мягкому тканевому корешку книга с очень смешными иллюстрациями и с черно-белой, уклончивой, но ясно намекающей на суть дела графикой.

Понятно, что это была книжка старая, в плохом состоянии, не имеющая никакой рыночной цены, изданная в «Детгизе», текст с купюрами, все самое интересное пропущено, но зато мы меняем одного Рабле на другого, в этом есть хоть какой-то смысл! Неожиданно я понял, что это единственный вариант.

Я приехал к Шульцбергер и начал тихо ее уговаривать.

— Это невозможно, — кричала она, — это неприлично, это выглядит так, как будто мы украли у него книгу, я со стыда сгорю, неужели ты не понимаешь?

Шульцбергер была настолько чиста и настолько щепетильна, что раньше я даже не мог себе представить этой проблемы в полном объеме.

— Лена, — сказал я осторожно, — скажи, пожалуйста, ну а вот если бы, предположим, тебе бы очень захотелось писать, ты бы смогла зайти в кустики, ну где-то вот во дворе или в скверике в нашем?

Она медленно покраснела.

— Наверное, нет, — печально сказала она.

— Ну и что бы ты делала?

— Наверное, умерла бы...

Она смотрела на меня так ясно и прямо, что я начал медленно краснеть. Мне стало ужасно стыдно — и за этот кирпичный поцелуй, и за то, что вот уже целую неделю я думаю о том, как буду лежать в ее постели и думать о прочитанных книгах, но, как оказалось, ничего этого не будет и быть не может.

— Помоги мне, пожалуйста, — прошептала она.

Сеня встретил нас с неприятным лицом. Казалось, что он все уже понял. Но вообще-то это чужая собственность, прошептал он мне в коридоре громким недовольным шепотом.

Да, прошептал я в ответ, но это удивительная девушка, она очень переживает.

Сеня задумался.

Он долго поил нас чаем, вертел в руках Рабле в переводе Пяста и наконец сказал с облегчением: ну ладно, я скажу папе, что вас ограбили, — и вдруг легко, радостно засмеялся.

На улице Шульцбергер прижалась ко мне плечом, крепко взяла за руку и поцеловала в щеку.

Лена, сказал я, как жаль.

Мне тоже, сказала она.

Рабле я иногда перечитываю...

Я не знаю, честно говоря, почему эти книги — тогда — так дорого стоили. Что в них было такого, что люди отдавали за них жизнь, честь и целое состояние.

Но память о том, как это было, кажется мне достойной того, чтобы ее сохранить. Хотя бы ради Лены Шульцбергер и соленого вкуса ее губ.



Очки

Это началось летом. А кончилось осенью.

Мне тогда было шестнадцать, а ей двадцать четыре. Конечно, именно эта разница поднимала наши отношения на какую-то небывалую высоту.

Мы много гуляли, разговаривали, звонили друг другу по телефону, иногда целовались. Все было хорошо.

С другой стороны, и для меня, и для нее все это было не очень просто. Именно в силу цифр, которые тогда казались пугающими. Она, например, очень боялась, что если моя мама что-то узнает, то обязательно позвонит или напишет жалобу в партком, и тогда ее обязательно исключат из партии (она была членом партии), уволят с работы и посадят в тюрьму, где она будет выпускать стенгазету.

Не раз я представлял себе, как секретарь парткома, суровый лысый мужчина в очках, в клетчатом пиджаке и с усталым лицом, вызывает ее к себе в кабинет, просит сесть, она ничего не понимает, он придвигает ей письмо через полированный стол и говорит сухо и коротко: прочтите, Светлана Игоревна. И тут она начинает рыдать.

Каждый раз, когда я брал ее за руку или прижимал к себе, она шептала мне: ты помнишь, о чем я тебя просила?

Имелось в виду — никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах ничего не говорить моей маме.

Этот шепот дико возбуждал, не по содержанию, а по форме (губы прижимались к моему уху, громкий шепот,

короткий смешок), но я послушно кивал — да, да, не бойся.

Этот ее страх был для меня совершенно загадочным. Ну во-первых, с какой стати я должен был говорить об этом маме? Во-вторых, с моей точки зрения, мама ни за что не позвонила бы в партком. Моя мама вовсе не была членом партии. Скорее, моя мама даже обрадовалась бы таким обстоятельствам.

Но и мне тоже было иногда страшно. Многое непонятно. Очень важные вопросы так и оставались без ответа.

Могу ли я, например, обнимать ее на улице? Стоять с ней в подъезде? Целоваться в метро? Я не знал, что и кому я должен про нее говорить.

Непонятно, впрочем, было и многое другое.

Например, у нее слишком часто менялось настроение. Иногда она неожиданно плакала. Иногда вдруг бурно веселилась и сильно смущала меня этим.

Кроме того, она слишком много работала. Писала по ночам очень длинные и с моей точки зрения немного тягеловесные статьи. А днем ходила на службу.

Все это время, с начала лета и до конца осени, я знал про нее буквально все. Я знал ее расписание на завтра и даже на послезавтра. Знал, где живет ее первый муж и где живет второй муж, и примерно представлял, где живет третий, хотя мимо вот именно этого дома меня никогда не водили, он был какой-то невесомый, ненадежный, несуществующий — и дом, и муж. Я знал темы всех ее статей и читал их в рукописи. Я ходил вместе с ней на интервью, дожидаясь в подъезде. Час, два, три, не имело зна-

чения. Я знал, когда она уезжает в командировку и когда возвращается, сколько денег ей выдали в бухгалтерии, и сколько она должна, и сколько останется до полочки. Я знал тему ее очередного партсобрания. Вместе с ней я забирал рукопись у автора, осенние туфли из ремонта, посылку с грецкими орехами и вареньем от мамы с Киевского вокзала, вместе с ней отдавал прочитанные книги, забывал зонтик и возвращался за ним обратно в редакцию в дождливый день. А дождливых дней становилось все больше и больше.

Я еще не знал тогда, что это станет моей кармой. Все последующие за ней девушки — словно повинуюсь той, самой первой, матрице — станут таскать меня за собой повсюду. Как чемодан без ручки, который носить неудобно, а выбросить жалко. Сколько часов я провел в этих бесконечных бессмысленных перемещениях из точки А в точку Б, знакомясь с незнакомцами, сопровождая несуществующие отношения и переживая внутри себя нелепые страсти.

Однажды она как-то пошла к своей преподавательнице по немецкому языку, «просто попить чайку», как она сказала. Я намекнул, что готов подождать ее. «Не знаю, — сухо ответила она. — Это займет не меньше часа сорока пяти минут». По всей видимости, она, кроме благородной цели навестить старушку, решила взять у нее еще один урок или даже целый курс, хотя давно закончила институт. Я пожал плечами. Дверь хлопнула, и я остался один в подъезде.

...Это был старый дом у Патриарших прудов.

У меня не было книжки, и я начал просто смотреть в окно. Окно выходило во двор. Сырой синеватый вечер

тяжело опускался на Москву. Было довольно холодно, там, на улице. Я прижался лбом к оконному стеклу. И поджал колени к подбородку.

Это и была та грусть, от которой невозможно избавиться никогда. Придя однажды, она уже не уходит.

Вместо того чтобы спокойно лежать на чем-то диване в одних носках и курить, я сидел тут, в пустом подъезде, на подоконнике, понимая всю нелепость этого занятия. Но оно меня увлекало.

Я смотрел, как сгущается воздух. Как дети чертят мелом на асфальте разные фигуры. Как зажигаются окна. Я хотел, чтобы она удивилась, увидев меня тут вновь.

Она снимала однокомнатную квартиру в северном районе Москвы. У черта на рогах. Туда можно было добраться только на автобусе от «Белорусской». До ее остановки автобус ехал двадцать пять минут. Плюс ожидание. Плюс давка. Обрато к метро ехать тоже было не особенно приятно. Тем более поздней осенью.

Москва в ту пору была довольно темным городом. Иногда, конечно, маячили какие-то слабо освещенные буквы: «Слава КПСС», или «Навстречу Великому Октябрю», или «Мир. Труд. Май». Но слишком много электроэнергии на эту ерунду тогда никто не тратил. Многие лампочки были неисправны, и содержание слов становилось загадочным и даже мистическим. Лампочки мигали в ночи как бы сами по себе, отдельно от смысла. Никаких сияющих во тьме огромных реклам, никаких огромных источников искусственного света — торговых центров, или крытых рынков, или платных парковок — еще просто не существовало.

Слабый свет в салоне одинокого автобуса порой был единственным подвижным огоньком на всей улице, не считая фонарей, которые горели совсем уж тускло.

В небе над Москвой еще можно было увидеть звезды.

В такое позднее время из темноты внезапно выдвигались совсем неожиданные лица. Граждане заходили в автобус и настороженно озирались.

Чаще всего это были просто усталые люди. Иногда люди, ищущие приключений по пьяному делу. Иногда — довольно одинокие в этом темном городе парочки.

На последних я смотрел с затаенной завистью. Они ласково прижимались друг к другу. Им было доступно то, что не было доступно мне. Для них было просто и понятно то, что было сложно и загадочно для меня.

Например, я никогда не мог пригласить ее в кино. Это было совсем, ну никак невозможно.

— А как ты себе это представляешь? — спрашивала она. — Идет взрослая тетя с таким малышом, и плюс к тому он еще все время к ней пристаёт.

— Ну а если я, предположим, твой брат? — тупо спрашивал я.

— Нет, знаешь, наших людей на такой мякине не проведешь! — вспыхивала она. А потом вдруг, сменив интонацию, жалобно просила: — Не мучай меня, ладно?

Домой она меня к себе не пускала. Как правило.

Мы часами гуляли на ее скучном бульваре имени какого-то великого советского генерала, сидели на скамейках, покупали хлеб в магазине, а если приходили ве-